

Александр Дорошенко

Фонтанский трамвай

Мы вставали на рассвете:
Холодный ветер
Был солоноват и горек,
Как на ладони,
Ясное лежало море,
Шаландами
Начало дня отмерив,
А под большими
Черными камнями,
Под мягкой, маслянистою травой
Бычки крутили львиной головой
И шевелили узкими хвостами.
Был пароход приколот к горизонту,
Сверкало солнце, млея и рябя,
Пустынных берегов был неразборчив контур...
Одесса, город мой!

Всеволод Багрицкий. 1940

Днем у моря жарко. Оно лениво колыхнется оловянной расплавленной лужей в берегах неба. В такую жару хорошо под развесистую клюкву, и чтобы под рукой был холодильный бочонок с лимонадом или ромом.

В книжке моего детства, «Золотой ключик», был рисунок дерева, в тени которого начальник полиции пил лимонад, – там был нарисован летний полуденный зной и рядом с деревом целый



Felix Vallotton. Дача на 12 станции Большого Фонтана*. 1904

ящик запотевшего от холода лимонада, – в детстве мне всегда покупали только половину стакана, а хотелось...

И чтобы не звонили телефоны и не прибежали всякие-невестыс-чем!

А вечером хорошо гулять вдоль моря, по морскому песку, по самому краю моря, по окоему чернильной густоты ночи, в ее влажности и прохладе, чуть сторонясь набегающих волн. Море тяжело и устало лежит в своих глубинах, от него веет холодом и страшной глубиной. Слева вверху луна, ноги вязнут в песке и спотыкаются о выступы скал, за спиной тихо и пусто, – разбежались поджаренные курортники и иная пляжно-дневная шушера.

* Феликс Валлоттон никогда не был на наших Фонтанах, а жаль, ему бы понравилось (**Прим. автора**).

Тишина! Только волна лизнет тебе ногу, если достанет, и слышно как поскрипывает в небе на своих подвесках луна. Благословение, как называли это дело в России!

Как упоительны в Одессе вечера!

А на даче, на 16-й станции, стоит еще с довоенных времен домик из ракушняка, в нем вечером прохладно и тихо.

Этажерка старая, и на ее полках странным и случайным набором книги. Это как падают карты – случайно и тем заманчивей. Журнал «Работница» и рядом «Старые годы».

Вишни небруннанные падают на неосторожную голову.

Ночью море всегда внезапно. Ты идешь рядом с ним, слышишь его шум, знаешь, что оно там, внизу. Но вот несколько шагов к нему вниз, с высоты берегового откоса. Всего несколько шагов – там, наверху, совсем рядом, осталась освещенная набережная, люди, деревья и все земное. А здесь холодная темнота, скалистый отблеск волн, упрямо и зло лежащих на берег, отчуждение и тишина. Море громадное, темное, живое, с ним рядом, наедине, страшно. Там наверху все привычно обжито, тротуар и люди, и ларьки, и выращенные людьми деревья, и высаженные ими в задуманном порядке кусты.

Здесь ты временный гость, здесь можно посидеть в тишине, помечтать, поговорить с другом (но даже и говорить вы будете шепотом, чтобы никого не потревожить), а потом подняться и уйти домой, что бы это сейчас ни значило, гостиницу ли, ждущую машину, неважно, но все это твой дом, а здесь ты незваный гость, и лучше тебе не засиживаться.

Там, наверху, на земле, небо и облака иные, они тебя не пугают, они приручены и привычны. Ты привык считать их обыденными и своими. Всего пару шагов вверх, еще немного, и вот ты уже ушел за первые дома города, – ты вошел в город, ты спрятался, тебе так – ближе и легче!

Облака над морем и небо над морем – это иная, и вовсе не твоя жизнь.

Одесса, город мой!



Дача Ашкенази. Львица, оставленная на бессменной страже

Когда так много позади
Всего, в особенности – горя,
Поддержки чьей-нибудь не жди,
Сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
И глубже. Это превосходство –
Не слишком радостное. Но
Уж если чувствовать сиротство,
То лучше в тех местах, чей вид
Волнует, нежели язвит.

Иосиф Бродский
С видом на море

Счастье в неведении: если бы человек, никогда в жизни, ни разу, не ехавший весенним солнечным утром на фонтанском трамвае в Одессе на наши Фонтаны, вдоль всей волшебной длинны Французского бульвара, мимо самых красивых в мире оград, не стоявший на задней трамвайной площадке с сигаретой у рта, облокотившись на руку, не слышавший запах сжигаемой прошлогодней травы и листьев, не видевший пения птиц и особенный скрип трамвайных поворотов, – человек этот, почувствовав и увидев все это, пусть ненадолго, и уяснив невозможность потери, немедленно покончил бы с собой, тут же бросившись под колеса пермской или воронежской электрички, если есть там такой транспорт.

Счастье в неведении!

Этот фонтанский трамвай бывает весной, в ее самом начале, солнечным неповторимым днем. Каждый из таких дней в твоей жизни будет всегда иным и особым. Если с тобой стряется беда, если ты так ощутишь происшедшее с тобой, плюнув на все, дойди до остановки этого трамвая, сядь в него, став на задней площадке, она открыта, там нет обычных стекол, в этот утренний час там нет въедливых одесских дам, и закури, когда он тронется с места.

И где-то после Пироговской улицы, когда Город начнет отставать от вас, там, позади, начнут, постепенно затихая, теряться твои проблемы.

Сначала они будут все же возникать стаей гиен, расцветкой они, эти гиены, конечно, не рыжи, рыжий цвет благороден, эти твари имеют цвет отходов нашего земного бытия, они будут шакалей побужкой, подлой, исподтишка, гнаться за тобой и трамваем, вдоль рельс, несколько смогут бежать рядом, между рельсами (как когда-то шли лошади конки), а остальные по бокам колеи, отставая и забегая вперед (как в лихой махновской тачанке, несущей смерть), но он, трамвай, начнет набирать скорость, он стар и натружен колесами, но воздух весны, но все запахи моря, но обольстительные тени деревьев, несущиеся вдоль его трамвайных обводов, но подлый вид этих догоняющих тварей придадут

ему силы, и вы легко станете уходить, и уже на благословенном изломе Французского бульвара, у Маразлиевской дачи, вы потеряете их навсегда.

А дальше ты продохнешь, отпустит узел сердца, развяжешь галстук, если на тебе будет галстук, и подумает, что там, впереди, сейчас тебя встретят весенние и еще пустые пляжи, что ты сможешь пройти по самой крайней полоске песка, мокрой от только что ушедшей волны моря, ласковой уже и теплой волны. Потом ты сядешь первым посетителем на пляжное кресло в кафе, и тебе принесут, что тебе улыбнется в это утро. Хорошо бы рому с лимоном (льда не надо, ведь еще холодновато сидеть, и ветерок все же, – выпей это без льда, как единственное нужное тебе лекарство!).

И чуть погода подошедшая на тебя посмотрит официантка, не нужно ли чего, улыбнется тебе ответной улыбкой, ответной твоей, ни ей, ни кому другому не предназначавшейся улыбке.

А когда ты встанешь и не торопясь пойдешь вдоль наших пляжей, от фонтанской станции, где будешь, к Городу, идти тебе придется долго, минуя Аркадию, Отраду и Ланжерон. Под ласковым и холодноватым ветерком ты застегнешь наглухо плащ, укутав шею в кашне, руки в тонких перчатках сунешь в карманы и поднимешь воротник. Идти ты будешь долго, присаживаясь где-нибудь выпить кофе, чуть согреться в укрытом от ветра и солнечном месте, станешь смотреть на крутизну высокого откоса из ракушняка и думать не будешь ни о чем.

Большой белый «пассажир», высоко сидя в воде, покинет порт и пойдет тебе навстречу, и когда вы, встретившись, разминетесь, боль уйдет. Просто вначале рядом с ней, чуть ее потеснив, появится теплый участок в груди мысль о далеком друге, потом памятью о будущем ты увидишь себя и друзей и вдруг вспомнишь давно позабытое в этих прошедших днях, что впереди и уже скоро праздник у друга, и увидишь себя рядом с друзьями. И вспомнишь, что была у тебя славная мысль, отложенная исполнением надолго, но вот сейчас хорошо бы вернуться и над ней поработать.

И ускорить шаг.

Дачная наша жизнь

...И снова долгим днем
В саду, в сияньи листьев,
Где шляется пчела
Над лестницей, в пыли

Вода горит огнем,
И в бездне летних истин
Навек душе тепла
Верна судьба земли.

Борис Поплавский

Утро.

Солнце еще ласковое, оно не губит, но согревает продрогшие в ночи травинки кустов.

Уже летает, трудолюбиво и недовольно о чем-то ворча, королевской расцветки толстенький шмель.

Дачники пока еще нежатся в постелях.

Так уютно – утро еще хранит прохладу, воздух – тишину.

И звуки музыки – в умелых руках, старый хорошо настроенный инструмент. Музыка стелется волной, сливаясь с волнами утреннего ветерка. Она отражается от листиков на деревьях, за окном, прямо у твоего изголовья, и листик, которого коснулась музыкальная нота, начинает, радостно ускоряясь, кружиться, танцуя в глубине прохладного утра...

Я на этой Двенадцатой дачной станции жил. На самом ее углу трамвай опасно и круто сворачивал, уходя от моря, и бежал вдоль улицы Гаршина. И уже околицами добирался на Шестнадцатую станцию, к конечной своей остановке. Когда-то он шел вдоль моря, напрямую, но оползни заставили изменить маршрут. И теперь вдоль моря он бежит короткую стометровку от опустевшей (и теперь уже никуда не ведущей) Аркады на Одиннадцатой станции, мимо застроенных дворцами участков нуворишей, и только на коротком отрезке пути море совсем ненадолго открывается из трамвайных окон...

Продольная аллея нашего дачного кооператива шла параллельно улице Гаршина и выходила к морскому обрыву. По обеим ее сторонам покойно располагались дачи. Были они в те времена очень похожими. Как правило, одноэтажный из ракушечника дом стоял в глубине участка, иногда это был дом с мезонином. Весь дачный участок был в кустах и деревьях, и вдоль дорожек росли розы. Иногда, если позволяли размеры участка, среди густой травы стояла беседка на деревянных резных столбиках, крытая, с подвешенной наверху лампочкой, и, проходя вечерней аллеей, можно было слышать смех сидящих за чаем людей, тихую музыку, а в высоте зелени клубился рой мошкары, летающий вокруг зажженной лампы.

В те годы дачи со стороны аллеи были огорожены высокими деревянными палисадами, и на калитках у каждой писалось имя хозяина. Аллея была размечена столбами освещения, асфальтирована, имела несколько изгибов и в этих местах расширение, где вечерами образовывалось подобие площади для общения подрастающих дачников, тех, кого уже не загоняли к девяти вечера домой.

Жила она, дачная наша аллея, однажды и навсегда заведенными правилами жизни. Ранним утром, когда солнечные лучи еще до нее даже и не добирались, а холодным золотом окрашивали кроны деревьев, первые и самые ранние купальщики устремлялись к морю. Считалось у них, что такие утренние купания «в самой еще чистой воде... в самом что ни на есть полезном утреннем солнце...» приносят особенное здоровье. Плескались они, отфыркиваясь от холодной воды, с вынужденными возгласами бодрости и веселья. И поднимались на свои дачи, где основное дачное население еще не вставало. И долго за утренним чаем эти бодрые купальщики корили своих нерадивых родственников за пренебрежение необычной радостью ранних утренних купаний. Были они, как правило, людьми уже в том возрасте, когда плохо спится.

А те, которых они соблазняли, были молоды, ложились поздно и счастливо спали по утрам...

Основной дачный народ просыпался поздно, долго завтракал, собирался и выходил на море часам к десяти-одиннадцати. Шли с детьми, несли с собой сумки с подстилками и полотенцами, всякую резиново-надувную снасть для детей, мячи, ракетки... Шел вдоль ал-

леи небольшой такой караван, не торопясь шли бабушки, укрытые широкополыми шляпами и зонтами, а впереди, в авангарде, весело бежали дети. И вся аллея звенела от их смеха. Они возвращались к обеду, разморенные жгучим солнцем на долгом и крутом подъеме, мокрые и нуждающиеся в отдыхе, тишине и прохладе. Толстые старые стены ракушника такую прохладу обеспечивали надежно. На дачах в те поры не было нужды в кондиционерах.

Примешь холодный душ, ляжешь в чистые прохладные простыни, блаженно вытянешь уставшие ноги...

И, заметив, отряхнешь со щиколотки приставшую песчинку. И с первыми словами чудесной любимой книги – уплывешь в дальнее странствие – в сладкий покой сна.

Позже наступала всеобщая дачная сиеста – спало в истоме все население. Спали дачные собаки с хозяйственного двора, разморенные солнцем, бессильно распластавшись в самых темных и прохладных участках аллеи, спали их благоустроенные кореша в тени деревьев на собственных дачах, спал дачный воздух, лишенный звуков... обвисали провода на столбах... низко к земле наклонились ветви деревьев, как бы в надежде найти у нее защиты от обрушившегося на землю безжалостного белого солнца...

Робкие тени прятались, где кто может, боялись высунуться и часто отставали от владельца, боясь выйти на солнце...

А уже в начинающейся вечерней прохладе, основательно пообедав, шли к морю самые умные. И те, кто только приехал из Города, с работы. Они оставались у береговой полосы прибоя до сумерек. Сначала купались, потом сидели на топчанах и говорили, играли в карты, закусывали. Постепенно они «утеплялись» прихваченными с собой теплыми вещами и свитерами. У морской воды быстро становилось прохладно и зябко. Возвращались они на дачи уже в темноте, долго и неторопливо шли вечерней и уже освещенной аллеей, встречали знакомых, останавливались поговорить у дачных калиток, не заходя, объясняя, что всего на пару слов, и стояли так час и больше...

Их голоса в этой чистоте и просторе дачного воздуха звучали иначе и были насыщены чувством и звуком. Обыденные слова здесь изменялись, приобретая смысл и значение, независимые от говорящих...

Как будто бы кто-то неведомый присутствовал тоже и вмешивался в беседу, окрашивая интонацию, голос и придавая словам иное звучание. На самом деле слово, его смысл и звучание, зависит от времени дня и обретает неведомую силу ночью, освобождаясь от нашей застенчивости и косности...

А на темных дачных аллеях теперь был слышен молодой смех...

Наступала мягкая ночь, и прохладой веяло от разросшихся густых и высоких кустов. Ночь наступала из этих зарослей, казалась, она пряталась в них, осторожно выглядывая и выжидая, и вкрадывалась исподтишка, незаметно – глянешь и, удивившись, заметишь, что уже поздно и темно...

Пустой до утра оставалась длинная дачная аллея. Только изредка торопливый шаг задержавшегося в городе дачника нарушал ее тишину. На эти шаги, откликнувшись спросонья, тявкала собака, и какая-нибудь ей лениво и недовольно отвечала. Их голоса в покойной тишине ночи звучали отчетливо ясно и громко. И вновь все замолкало вокруг, только в вышине темно-синего неба чистым и мягким светом переливалась луна... Дачная, она была крупнее и чище городской. Она вовсе не стояла на месте, но куда-то стремительно плыла в облаках...

Ночной ветерок освежал изнемогшие листья, ласково прочесывая густые кроны деревьев. Он подворачивал в открытое дачное окно, шелестел листьями открытой книги, меняя в ней порядок и смысл написанных слов, и засыпающий в уютной постели дачник, отложив книгу, вслушивался в торопливые шаги и приглушенные голоса ночных загулявших знакомых, узнавая их и завидуя веселому тихому смеху, радости возвращения в дом, к ребенку, к объятиям, к самому счастливому сну, который нам был когда-то дарован...

(Была тогда на земле такая порода людей, возвращаясь домой дачными ночными аллеями, они говорили шепотом, чтобы никого не потревожить, – была и сплыла.)

Но иногда в ночной тишине вдруг, торопливо крадучись вдоль аллеи, сначала по ее пыльной дорожке, и потом по листьям кустов и деревьев, радостно и торопливо пробегал дождь. Он делал это кра-

дучись, в боязни, что успеют остановить, но, погода, смелел, переставал прятаться, усиливался и внезапно начинал барабанить уже открыто, в полную силу, по крышам, и винтом громыхать в водостоках...

И тогда, бросив все дела и занятия, дачники подходили к открытым окнам, и перед тем как их закрыть, смотрели на дождь, и выходили затем на свои крытые веранды, и так стояли, как бы приветствуя этот внезапный дождь, как бы входя в него, в его звук и внезапную силу, в его неистовство и беззаконие, как если бы этот дождь был разрешением тревоги наболевшего сердца, был вестью, посланной издалека, доброй вестью, что все наладится и будет теперь хорошо. И глубоко вздыхал, от чего-то освобождаясь, дачник, и в грудь его входил этот сырой и холодноватый воздух, и освежал грудь, и сердцу становилось легче...

Дачный в разгар пляжного сезона, затяжной и упрямый, самый сладкий на свете дождь. Аллея вся становилась в лужах, с густых ветвей сыпало уже отшумевшим дождем, они, отяжелев, наклонялись до самой земли. Становилось сыро и прохладно. Выходить из дому можно было только с зонтиком или в целлофановом капюшоне. И сигарету приходилось скрывать в кулаке – иначе она непрерывно гасла под морозящим косым дождем.

Пляжи становились очаровательно пустынные, косые буруны все в злобной пене накатывались на пирсы. Приезжие курортники мучились в такие дни надеждой и все высматривали в обложном и глухом небе просветы, в надежде ложились спать, а утром просыпались под монотонную песню дождя. Он только крепчал от их молитв и переживаний...

Оставалось лежать на веранде, укутавшись в старый и теплый бабушкин плед, и читать. Ну разве что сбегать в магазин, прикупить еды и чего-то вкусненького. Все было пропитано дождем, густая отяжелевшая зелень гнулась к земле, черной и тяжелой от влаги, вода лилась с зонта, когда, сложив его, ты входил в магазин.

Телефонов в те времена не бывало еще на дачах...

В мое дачное время, от этого 1904 года, что зарисован Феликсом Валлоттоном, спустя лет семьдесят, на дачах мало что изменилось. Стояли те же самые стены, и такими же оставались полы из простых деревянных досок. Сюда свозили мебель, устаревшую для быстрой текущей моды, всякие дедушек-бабушек кресла, венские гнутые

стулья, даже и музыкальные инструменты бывали тогда на дачах, и играли на них ранним солнечным утром или в вечерней прохладе, и тогда гуляющие дачники останавливались послушать...

На некоторых дачах были камины, и в них вечерами зажигали огонь, вовсе не для шашлыков или обогрева, но из благородной любви к живому огню – вечной нашей колыбельной песне...

Бесконечно далекие наши предки пользовались огнем, большинство в целях утилитарных, готовить пищу и согреваться, и лишь немногие из любви к горящему костру, к открытому и загадочному пламени.

Они-то и приручили огонь для всех остальных, и именно они стали предками людей, от остальных произошло население планеты.

Самый Большой Фонтан

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна –
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.

Владимир Маяковский

Несколько слов о моей жене. 1912



Море удивляется нам – мы с собой все время что-то делаем, изменяем одежды и новые придумываем шляпы, конструкции удочек и лодок, парусных и моторных, интонацию речи – сами же мы остаемся неизменными, такими же, как оно, и ему странно, что мы этого, самого важного в себе, не замечаем.

Опустевший пляж, ночь, тянет от воды холодом...

Луна висит над миром и подсвечивает гребешки волн. Нескончаема полоса песка у самой воды. Только шорох волны и в лунном свете за тобой цепочка следов на мокром песке.

Это место есть на полотне Ван Гога, море и лежащие на берегу лодки. Помните ли вы, как плескалась волна о борт, как подставляла она свою холодную и влажную спину опущенной в воду руке, расчесывающим ее гриву пальцам, как быстро и прохладно бежала между ними вода, объемными живыми струями...

Эту бухточку у Золотого Берега на Большом Фонтане я теперь часто вижу. Она точно такая, та же береговая дуга, та же вода и камни. Мы, люди, их чуть потревожили.

Прошедшее время нас всех на этом снимке, живых и бес-
смертных, убило. У моря и камней время иное, и в нем секундная
стрелка не успела еще даже дрогнуть. Когда мы уйдем с земли,



здесь все станет первозданным, и последние наши следы слизнет с пляжного песка ласковая летняя прощальная волна...

Вслушайся!

Слышишь шум моря? – На этой волне лежит и качается мое сердце!

Если тебя спросят, что было важнее для нас, колесо для телеги или лодка с парусом, не задумываясь выбирай парус – мы и так умели ходить по земле, и новая скорость не изменила ее горизонтов, а вот море подарило нам вторую половину души и пространства земли. И новое солнце, потому что морское солнце иное.

Вспомни великие морские державы – финикийцев, карфагенян, первоначально древних греков с Одиссеем, и даже Рим, прираставший морем. Именно море вскормило этих отважных людей, именно ветер в парусах нашептал финикийцам музыку алфавита и грекам великую поэму о Трое.

Конечно же, товарообмен вел этих отважных людей – выгода и нажива, вино и ткани на слитки олова и меди, но что-то еще, что-то совсем иное не давало остановиться, толкало все дальше и дальше – так хотелось увидеть то, чего еще никто из живущих не знал и не видел: новые прекрасные острова, новые берега, новые бухты...

Прошло, как проходит все – вино и ткани, олово и слитки меди, но последнее, что видел такой мореход, закрывая глаза и сжимая пустые ладони, – парус и мачту своего судна, и новый, не виданный еще никем берег!

Именно Море сделало нас такими, как мы себя помним – великими и отважными народами планеты Земля. Море вывело нас из тупика безысходности косных земных пространств и привело к новым прекрасным берегам.

Эти берега нашего Большого Фонтана первыми после Дней Творения увидели древние греки.

Когда одесский мальчишка, множество раз видевший это море с берега, впервые оказывался на качающемся борту и видел впервые родные берега вот так, с моря, он впервые чувствовал, что

это такое – земля, и впервые по-настоящему понимал, что это такое – море.

Мы другие – в море!

Я эти берега помню мальчишкой. Так выглядел берег на Отраде и дальше нее, разве что в Аркадии эта первозданная картина прерывалось некоторой благоустроенностью. За ней и до Фонтанов, и на всех Фонтанах именно так и было: узенькая полоска диких пляжей, вынесенного морем песка вперемежку с водорослями и торчащие всюду из песка камни. Осенью к этому добавлялся студень выплунутых морем медуз. Это было природным равновесием, договоренностью между берегом и морем, ширина этой полоски и оставленные на ней морем и землей камни.

Рыбачьи плоскодонки занимали всю имевшуюся пляжную ширину. Весной лежали они кверху днищем и были обильно политы смолой, их подкрашивали, обновляя на борту имя и номер причала.

Пляжей собственно тогда не было. Лучшими и самыми благоустроенными были Аркадия и Лузановка. Именно потому, что оба они лежали на уровне плоской земли, и не было необходимости к ним спускаться с отчаянной крутизны, а потом тяжело карабкаться вверх.

Уже при мне, юноше, пляжи намывали – широкую песчаную полосу, и долго утюжили бульдозером склоны против оползней, понижая угол берегового откоса, и строили подпорные стены, а потом вдоль всей длины пляжей, в море, метрах в пятидесяти от берега и ему параллельно устроили подводную волнорезную стену, немного не достигавшую поверхности и сглаживавшую удары и мощь волн. Эту пляжную полосу расчленили пирсами, идущими в определенном ритме под углом к берегу.

Склоны берегов у наших пляжей теперь искусственны, так не бывает с морем, и только покинув прирученные берега, выйдя за границы городских пляжей, ты увидишь подлинную крутизну голых береговых откосов, отвесную, так что море, когда в старые времена на него смотрели с обрывов горожане, было не в отдаленной перспективе, но у ног, в страшной глубине падения.

Нам, мальчишкам, это никак не мешало.

Считанные секунды длился сумасшедший бег вниз по отвесным склонам. Вот ты стоишь над морем, так далеко от воды, и через несколько сумасшедших биений сердца и рвущего рот радостного крика падения твои босые ноги уже по щиколотку в воде. И ты отпрыгиваешь, смеясь, от ласковых с виду весенних волн – они еще полны зимнего холода. И так прозрачна была вода в эту пору года, все в ней, самый маленький камушек, были видны, камушек, лежащий на дне, синеврюхий и с красноватой полоской на спинке, как декоративная аквариумная рыбка, а лежи он сто лет на песке пляжа, высохший, обесцвеченный, на него и не глянешь.

Такими мы стали сами, когда покинули родившее нас море.

Близко у берега были развешаны в объеме воды роскошные медузы, хорошо видимые с пирса, непрерывно изменяющие форму и цвет, светящиеся изнутри. Природа в медузе определила разумное сочетание замкнутой формы с подвижностью ее границ. В начале времен наше тело было подобным и, когда оно вылилось в завершенность и конечность нынешних форм, мы утратили навсегда одно из необходимых измерений мира. Теперь нам уже не дано понять мир, в который погружена медуза, но только одну из сотен возможных его проекций, а утраченное целое иногда открывается только поэту.

Это древний исходный принцип, с которого все началось. Стайки резвящихся мальков проносятся мимо медузы – они уже заключены в твердую определенность формы, как и мы, люди, в тюрьму тела. Разрыв здесь в миллионы лет, а затем прошли еще миллионы, и живое существо впервые робко ступило на твердую землю, задохнувшись обилием воздуха и солнца.

И еще прошли миллионы.

Но каждый раз, обретая новую форму, мы что-то важное теряли, забывая, что и чем оно для нас было. Пока не потеряли достаточно свойств, чтобы стать человеком. И тогда нам понадобился разум, чтобы справиться со сложностью мира.

И душа, чтобы этой сложности не испугаться смертельно.

А чуть подальше виден в воде огибающий камень стремительный краб. Но не достать. Да и не интересовались мы тогда

крабами, следя, чтобы не подставить ему под клешню босую ногу. Мы таскали со дна плотных головастых и таких вкусных бычков.

Летом мы, мальчишки с Молдаванки, приезжали на Ланжерон или Отраду, бросали грудой на песок нехитрый одежный реквизит и бежали, кто раньше, к морю, бросаясь в него с разбега, никогда не интересуясь заранее температурой воды.

В ней всегда была какая-то температура.

Обгорали мы до черноты, вначале лезла кожа и обгорала повторно, уже плотно и надолго, выгорали волосы, и соль пропитывала кожу на всю следующую холодную половину года. Только шрамы белели на ногах, где оступилась она об острый камень.

Странно, пробыв весь день на открытом солнце, пропаленный им насквозь, именно по этой причине вечером ты замерзал, и чем больше в твое тело днем входило солнца, тем холоднее ему бывало ночью. Солнце не столько давало нашему телу, сколько лишало его чего-то и что-то брало себе.

А лодки несли имена на бортах, в основном женские – «Оля», «Соня» и «Люся», и совсем исчезнувшее теперь «Клава». Они занимали целиком и без того малое пространство песка, и устроиться полежать на солнце можно было, выбрав между ними место. А вокруг были канаты и цепи, черпаки и якоря, и остовы старых баркасов, как скелеты обглоданных рыб. Когда рыбаки подходили к берегу, мы бежали глянуть на их улов, сети и ведра, полные живого серебра...

А затем мы выросли и стали заниматься всякими серьезными и достойными взрослого человека делами – учились чему-то и как-то, потом делали ту или иную карьеру, науку например, или иное, потом настигала нас семейная жизнь и многие годы работы, просто работы, поездок, знакомств, выпивок в каких-то чужих городах и широтах, театров по настоянию жен...

А о море мы забывали. И только когда приводили к нему впервые своих детей, мы что-то припоминали, заглядывая в их удивленные глаза. С наступлением лета мы переезжали на дачу, там обустроивали семью и с работы ездили ночевать уже иным летним маршрутом, на Фонтаны, например, если дача была на Фонтанах. А к морю ходили редко, по утрам и ненадолго, искупаться, походить вдоль пляжа по щиколотку в воде...

Иногда, выпив с друзьями, приходили к морю поздним вечером или ночью.

И тогда, присев на ребра топчана, закурив и слушая идущие от воды смех и голоса неразличимых друзей, вдруг мы что-то такое припоминали, запах водорослей или крик испуганной чайки перед дождем, или дождь этот, заставший внезапно на открытом берегу и успевший все насквозь промочить, или утро перед экзаменами в девятом, что ли, классе, когда почему-то перенесли на пару часов начало этих экзаменов, и мы успели смотаться к морю на Ланжерон и поплавать, и полежать на греющем песке, и съесть один на четырех единственный у кого-то оказавшийся с собой бутерброд – два толстых ломтя хлеба, намазанные густо маслом и вдавленные в это масло кружочки колбасы – и их оказалось ровно четыре, – и песок хрустел на наших зубах: смеясь при дележе бутерброда, мы его уронили...

И многие годы, всю жизнь, мы видели море случайно, живя с ним рядом – видели с высоты Бульвара или проезжая Строгановским мостом, внезапно удивляясь открывшейся над впадиной Карантинной балки его синеве, жирафьим шеям порталных кранов, трубам больших кораблей.

Приезжие курортники много больше бывали с ним рядом. Но у них это было как в бане, пришел и помылся. Они просто принимали морские и солнечные ванны. Говорят, это полезно от геморроя...

Однажды в детстве волна успела добежать и лизнуть нас в сердце, и шум ее навсегда с тех пор остается с нами!

Гости съезжались на дачу

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Анна Ахматова

С высоты центральной террасы спускалась мраморная лестница – патетически и церемонно – между стремительно расступающимися балюстрадами и архитектурными вазами и, широко растекшись по земле, казалось, отступала в глубоком реверансе, подбирая свой пришедший в беспорядок наряд.

У меня поразительно обостренный инстинкт стиля

Бруно Шульц. Весна*



Самое начало века. Дачный модерн. В нем много воздуха, открыт он к морю широкими верандами, там широкие ступеньки, идущие многомаршево, в прямую линию, или полукругом, и прихотливо развешанные в высоте дома балконы. К морю, если дача стояла над обрывом, дом открывался пространной верандой. Устраивали над домом высокую смотровую башню, с высоты которой открывалось море и побережье.

Эти дома жили на раздолье, они стояли в центре больших участков земли, над береговыми откосами, рельеф местности здесь сохраняли первозданным, и по этой причине их окружало такое множество террас и лестниц. Вокруг шумел сад, настоящий, а не фруктовый. С моря фонтанская земля виднелась зеленым ковром на береговых высотах.

Человек здесь жил лицом к морю, наедине с ним, и город со всем своим населением, шумом, суетой – оставался у него за спиной. Там была глубокая и нежная тишина. И человек оставался наедине с самим собой – наедине с Богом!

* Инстинкт стиля как основное видовое свойство – есть отличительная особенность человека (**Прим. автора**).

Там были устроены уютные «тайные» гроты, из дикого камня, с вымытыми природой столбами и глубокими пещерами.

Территории этих дач в советское время стали санаториями и домами отдыха. Господский дом превращали в администрацию и лечебный корпус. Настроили дополнительно зданий для роста поместительности. Строили их как придется и когда выделяли деньги, поэтому все черты советских стилей, от сталинского «ампира во время чумы» до убогих хрущевок, изувечили прелестные сады и парки.

В таких санаториях была большая столовая, клуб, где вечерами крутили кино, и библиотека. Надо сказать, что таких библиотек не бывало в мире – вся мировая классика там стояла на полках, переведенная на русский язык великими мастерами слова. Была неременная танцплощадка круглой формы с эстрадой для оркестра (в те годы играл «живой» оркестр, и чаще всего танцевались вальсы). К морю вела аллея с клумбами, полными свежих утренних роз.

По звукам казалось, что веселятся эскадронные лошади. На самом деле тот затейник вовлекал отдыхающих в «массовку».*

Стояла неременная будочка экскурсионного бюро, и завлекали отдыхающих экскурсоводы поездками по Городу или в катакомбы. Вечерами курортники ездили в оперный театр. Еще были «массовики-затейники», и они вечно выдумывали какую-нибудь глупую игру и ко всем с нею приставали. Стояли столбики с указателями, где, что, а на асфальте были стрелки с надписями о гигиенических маршрутах под № 4 и 7.

До революции на этих дачах было много скульптур, девушек мраморных и львов. Пролетариат перенес их на городские площади, и там их судьба сложилась печально, они почти все исчезли. Но в сталинское время начали вновь населять эти санатории культурой, и по этой причине там выросло новое поколение в гипсе и цементе сделанных произведений скульптурного мастерства, крашенных ежегодно масляной краской. В основном это были безобидные зверушки, так казалось спокойнее в выборе сюжета в это непростое сюжетное время, коз-

* Илья Ильф. Записные книжки.

лики и барашки, но и пионеры с горном и поднятыми на косую руками, мальчик и девочка, или две девочки, а в центре мальчик; счастливая мама с дочкой...

Мужчин изображали редко, разве что пропеллерный летчик в шлеме или шахтер с отбойным молотком.

До 1953 года в центре главной домоотдыховой клумбы непременно стояла кушетка, и сидели на ней в любовном внимании друг к другу Ленин и Сталин, но позже в этой композиции Сталина заменил Горький. Еще мог стоять пышнобородый требовательного вида Маркс, как и до сего дня он стоит в санатории «Черное море», что был на Тринадцатой станции Фонтана, на центральной аллее лицом к морю. Одет Маркс был не по-пляжному вовсе, в сюртуке над жилетом, и дополнительно нес перекинутый через руку плащ.

В таких санаториях отдыхала моя мама. Я приезжал к ней на велосипеде с Молдаванки. Восхищались ее новые знакомки, какой взрослый уже я мальчик. А я гордился своей красавицей мамой, она всегда была всех красивее, и ее везде любили...

Там было чисто и красиво. Праздничные красиво одетые люди, на отдыхе. А вокруг, накрытое густой зеленой кровлей деревьев, было море фонтанских дач. Маленькие участки земли, небольшие домики из ракушника, деревья.

А с высоких обрывов открывалась ровная чаша моря и идущие вдоль берегов фонтанские прогулочные катера.

Море было большое, свое, привычное, и лежало у меня на ладонях, как полная чаша жизни...

